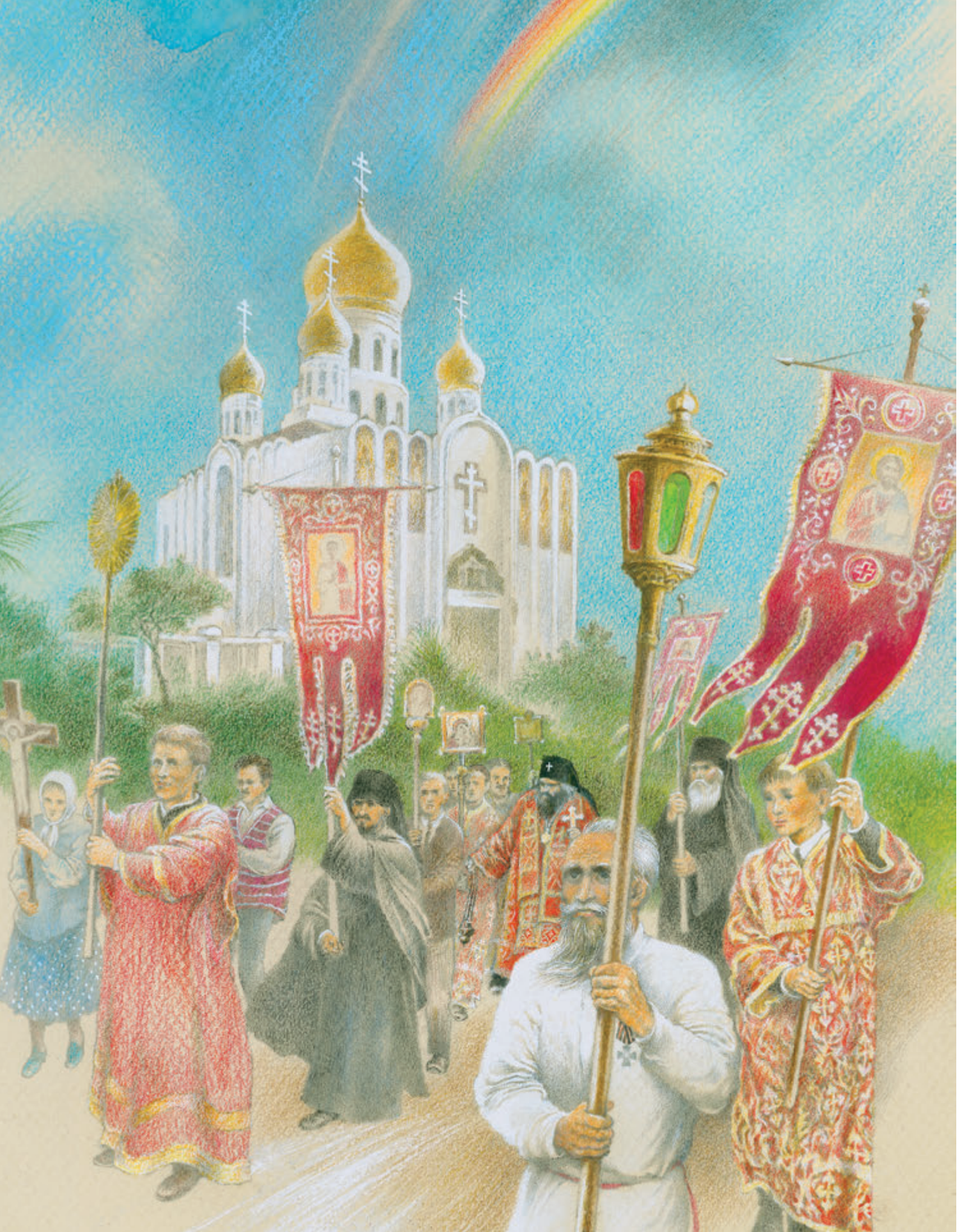
Повесть о святителе Иоанне
Шанхайском
и Сан-Францисском
(Максимовиче)



Имя твоё РОССИЯ

Тимофей Веронин

ИОАНН ИМЯ ЕМУ

Повесть о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Францисском (Максимовиче)

Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви
Москва • 2012

УДК 244
ББК 86 372
В 31

Рекомендовано к публикации
Издательским Советом
Русской Православной Церкви
ИС–12–204–0249

Веронин Тимофей

В31 Иоанн имя ему. — М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 с. — Илл. — (Серия «Имя твоё Россия»)

ISBN 978-5-88017-308-2

Книга рассказывает о величайшем святом русской эмиграции святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Францисском Чудотворце, который был почти нашим современником и умер в 1966 году. Документальное повествование о святом переплетается с вымышленной историей жизни девочки Оли, дочки нищего русского эмигранта. Повесть пронизана глубокой уверенностью в том, что святые рядом с нами, они освящают нашу жизнь, помогают нам и ведут нас к вечности. Повесть эта о чуде присутствия в нашей жизни святости, о встрече земного с вечным, о стремлении человеческого сердца к непостижимой радости Небесного Царства. Книга адресована детям среднего и старшего возраста.

УДК 244
ББК 86 372

© Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012
© Веронин Т., текст, 2012
© Сацкий П., иллюстрации, 2012

ISBN 978-5-88017-308-2

ВСТРЕЧА

Летом в Шанхае очень жарко. И даже в порту у моря не становится легче. Особенно когда таскаешь на спине ящик за ящиком. Чего только они там положили? Ящики зеленые. Без надписей. В порту говорят, что перевозят оружие, готовятся к войне. Но тайно. Под видом обычного товара перевозят снаряды. Куда? А кто его знает. Да и что с того. Пусть делают, что хотят. Русскому эмигранту нет дела до китайской политики. Каждый вечер ломит спину, и жалкие гроши, полученные в порту, идут на плохую рисовую водку и сухую рыбу, чтобы утешить бедное сердце, потерявшее все.

Его маленькая фарфоровая куколка Чунь Ли умерла еще в Харбине. Да, женился на китаянке, дело было до переворота. Кроткая, тихая, любила, эх, любила. Даже когда пропадал на несколько дней. Он же не домосед, артист как-никак, есть свои интересы. Когда возвращался, она не поднимала своих тихих раскосых глаз, и только руки, быстрые тонкие руки с желтоватым отливом беспокойно теребили краешек шелковой кофточки. И дрожали губы. Она умерла в Харбине от лихорадки.

Маленькая Ольга осталась у него на руках. Ей было меньше пяти. Когда мама лежала в душной комнатушке, неподвижная и холодная, крошечная Оля глядела куда-то вдаль такими же, как у матери, тихими раскосыми глазами, и ее тонкие, с желтоватым отливом пальцы теребили край шелкового халатца. Потом она уткнулась в пиджачок отца: он пах одеколоном, табаком, звоном

бокалов, смехом за столами в кафе (ведь отец пел для русской публики в маленьких ресторанчиках) и еще чем-то теплым, отцовским. Нет, она не плакала, только терлась о папину мягкую ладонь, привыкшую перебирать струны и держать тонкие шейки изящных бокалов.

А потом, потом — забившись в угол, глядела на большого и страшного отца, когда он выпивал свою бутылку рисовой водки и начинал говорить. Оля боялась и не понимала ни слова. А он, он и не с ней разговаривал, а с кем-то еще. И Оле казалось, что этот кто-то — страшный и черный, и он рядом. И нет от него защиты.

Отец не мог петь после смерти матери. Однажды он разбил вдребезги гитару, выкинув ее из окна. Старый китаец в желтом халате долго бродил под окнами, собирая осколки и сматывая струны. Оля помнила, как жалобно и страшно взвизгнули они, когда гитара упала на асфальт харбинской улицы.

Ему не было жалко гитары даже и наутро. Ведь все равно петь он больше не мог. Садился иногда за стол, писал что-то. Носил написанное в какие-то редакции, но возвращался неизменно мрачный, желтый, как халат того китайца.

Потом переехали в Шанхай. Она помнит, как было плохо на корабле, качало, тошнило. В трюме душно. Сидели на мешках, облокотившись на бочки с селедкой. Потом долго шли по холодному городу, ночевали на лавке, было тепло, а все же она помнит, как окоченела, как хотелось есть. Отец бранился, тащил ее и два больших мешка. Они не выспались. Какой сон в сквере на лавке? Большое малиновое солнце уже виднелось между высоких домов, которые показались Оле металлическими. Улица была еще совсем пуста. Вдруг отец остановился. Он приложил ко лбу сложенные пальцы и перекрестился. Он учил этому Олю, когда бывал трезв и мирен.

У них была крохотная икона доброго старичка. Перед ней ставил Олю отец и бормотал что-то. Оля не понимала, что он бормотал. Но видела, что папе стыдно. А старичок смотрел с иконы так тихо, кротко, словно он любил и жалел папу больше всех на свете.

Оля подняла голову: перед ней было здание, над зданием кресты, это их коснулось солнце, и они блеснули надеждой и радостью.

«Наше это, наше, — думал теперь отец. — Тут только и приют русскому эмигранту». Раньше-то он не больно жаловал Церковь, говаривал: «Попы пусть молятся, а у нас, у артистов, свои счеты с Богом. Мы Ему искусством служим». А теперь, в нищете, болезнях, скитаниях, один только остров тишины и света оставался — Церковь.

Но, конечно, еще никого нет. Закрыта. Пять часов утра. Кто в такую рань служить будет... Дернул дверь. Она не поддалась. Он сел на ступени, Оля прижалась к его коленям. Ей было страшно. Взгляд отца потемнел.

— Нет надежды! Пропадать нам... Что за жизнь? В море лучше б кинуть тебя да себя. Бог проклял нас, никому мы не нужны... Все пустое, жизнь — насмешка лукавого властелина, — бормотал он.

Оля ничего не понимала, но от этих непонятных слов становилось страшно и еще холодней. Она прижимала к себе Голышка с круглой безволосой головкой, единственную свою куклу. Он ревел во весь голос. Оля, как могла, утешала его. Она знала, как надо утешать. Она помнила мамину песню. Мама пела ее на своем языке. Его Оля не знала, папа почему-то не разрешал учить ее маминому языку. Но в этих странных плавных звуках было столько покоя и тишины, что невольно замирала и успокаивалась детская душа... И сейчас она пыталась повторить ту песню, ведь надо было успокоить Голышка.

— Инь, чуинь, лаулинь, пау, дау, чилаау, — мурлыкала Оля, и ей самой становилось теплей, но отец снова говорил что-то, махал руками, доставал из мешка противную скользкую бутылку, прикладывался к ней. И Оля не могла уже больше петь Голышку, глаза ее наполнялись страхом и слезами. Она боялась этих бутылок, этого запаха, папиных глаз. Она сжалась вся в комочек. И Голышок выпал из ее рук и покатился по ступенькам: плюм, плюм, — и пустая улица глядела безжалостно на упавшего пластмассового малыша. А Оля не заметила, что он упал. Она терла кулачками глаза и плакала.

— Это твой сыночек? — услышала Оля чей-то странный голос. Голос был ласковый, но необычный. Немножко неправильно,

по-детски выговаривал он некоторые звуки, как будто проглатывал их, спешил произнести слово и не успевал проговорить его полностью, как будто немного волновался...

— Оленька, моя хорошая, возьми его. Надо его завернуть в одеяльце. Вот — тут у меня кое-что есть.

Оля подняла глаза. Голос назвал ее по имени. Он говорит с ней, как с родной. Возле нее на корточках сидел взрослый человек. В длинном черном одеянии. В таком ходят в церкви, вспомнила Оля. Лицо было обрамлено спутанными волосами. Сквозь черные волосы бороды пробивалась седина. За очками сияли добрые-предобрые глаза, а в бороде пряталась ласковая улыбка.

Он глядел на нее долго, и так не хотелось отрывать своего взгляда от его теплых лучистых глаз. Казалось, только ее, маленькую, замерзшую Олю, и любил всю жизнь этот человек, ее искал, ждал, ходил по улицам Шанхая на самом восходе солнца, чтобы найти ее.

— Вот у меня тут носовой платок, закутай малыша, — и человек протянул ей платок. Она благодарно кивнула. Пригретый Голышок успокоился. И Оля сама вдруг почувствовала, что ей совсем тепло и спокойно. Это тепло исходило от человека с ласковой улыбкой и добрыми глазами за стеклами очков. Он поднялся с корточек. Сказал что-то папе. И сразу стало видно, что он маленький. Меньше папы на голову. И хоть у него была большая борода, седина, очки, а все же он показался Оле немножко ребенком, и говорил ведь он по-ребячьи. Спешил, проглатывал звуки, словно боялся, что уйдут, не услышат. А может, он напомнил Оле маму, она ведь тоже была маленькая, гораздо меньше папы, и с ней рядом было так же тепло. Она любила заглядывать в Олины глаза, мягко, ласково заглядывать, словно поглаживая изнутри ее душу. И он, тот, который присел рядом с ней на корточки и подал Голышка, он тоже глядел в самую душу, глядел, чтобы навсегда запомнить и полюбить, принять в свое бездонное сердце еще одно существо, еще одну бессмертную душу.

Скрипнула дверь храма. Оля увидела большую просторную залу, а в конце красивые Врата, иконы. Папа приводил ее когда-то в церковь в Харбине. Но это было давно. Был большой праздник, и все теснили их. Папа плохо себя чувствовал. Они потолкались немного, вышли на улицу. Папа долго стоял и смотрел на церковь. Потом грустно махнул рукой и потянул Олю обратно, домой. Там опять пахло водкой, очередная опустошенная бутылка скатилась в угол кухни и нагло звякнула, стукнувшись о прозрачный бок своей сестрицы. Папа сидел, подперев щеку рукой, и пел свои старые песни. Грустно пел, хрипловато. Пел и плакал. Ему трудно стало петь после того, как не стало его Чунь Ли. И Оле тоже становилось очень тяжело, когда папа пел. Она подходила тогда к той иконочке, где был добрый старичок, брала в руки фотографию мамы и стояла так, не шевеля губами, а только глядя в ласковые глаза нарисованного старичка.

А теперь храм был пустой. Но в этой пустоте было что-то. А вернее, Кто-то, Кто-то живой. Чье-то большое доброе сердце билось в храме. Человек вошел в Алтарь, неожиданно растворил красивые Врата и упал, стремительно, резко упал на колени перед

высоким Престолом. Папа нерешительно вступил в церковь, прошел несколько шагов и тоже опустился на колени. Оля прижимала к себе Голышка, а он все высовывал крохотные ручки из-под платка-одеяльца, и Оля боялась, что он замерзнет.

Но потом она услышала чей-то всхлип. Он доносился от алтаря. Она поглядела вперед и увидела, что человек стоит на коленях, и плечи у него дрожат. Он плачет. А еще она увидела, что из-под длинного черного одеяния выглядывают босые ступни. Да, он точно ребенок, решила Оля. Мальчишки так любят бегать босиком. А бороду просто приклеил. Но почему плачет? И Оле отчего-то показалось, что плачет он совсем не от обиды или боли. Ему не за себя грустно. Он плачет за кого-то другого. Он плачет из-за них, холодных, оборванных, с двумя толстыми мешками ненужных вещей, плачет из-за тех бутылок, что звякали, откатываясь в угол кухни, из-за той разбитой гитары, плакал из-за того, что у Оли умерла мама, и папа так часто говорит странные, непонятные, злые слова.

А потом он поднялся. Опять этот теплый взгляд. Очки он снял. Они ведь запотели от слез. Оля сама пошла к нему, хотелось поближе к его теплу. Отец тоже шагнул. Человек держал крест. На кресте — распятый Бог. Оля слышала о Боге, о том, как Он пришел на землю, чтобы спасти людей, Он плакал о них, а они Его распяли. Оле рассказывал о Боге отец. Редко-редко, когда почему-то не было в кармане его старого пиджачка с протертыми локтями неприятной прозрачной бутылки, и он бывал тогда серьезен, грустен и ласков.

Человек приложил крест к Олиным губам. Потом дал крест папе. Папа остановился и словно бы боялся поцеловать крест.

— Подойди ко мне, Павел, — произнес только человек, и папа шагнул к нему, и вдруг... Такого Оля еще не видела — затрясся в рыданиях, опустился на колени и обхватил ноги маленького человека в длинном черном одеянии, только теперь на его шею была надета длинная прямоугольная полоса красивой ткани, и он накрыл ею папу и крестил его голову, и говорил тихо, ласково.

Потом он поднял отца. Вместе они вышли из храма, прошли переулком, свернули на большую улицу, миновали еще несколько

домов, поднялись по лестнице и оказались в маленькой уютной комнате. В углу висела икона. С нее глядел на вошедших тот самый добрый старичок в красивых одеждах. Его взгляд был так похож на взгляд того, кто привел их сюда. А тот человек сказал еще что-то отцу, улыбнулся Оле, погладил по головке Голышка и пошел. Его шаги зашаркали по ступеням, а к длинному черному одеянию прицепилась то ли колючка, то ли бумажка. Куда он шел? Туда, где ждали его чьи-то слезы, чья-то боль и горе. Куда звал его распятый за людей Спаситель...

— Запомни, это владыка Иоанн, — только и сказал отец, когда укладывался в теплую постель. — Владыка Иоанн, — повторил он. Потом отец удивленно взглянул на тумбочку под зеркалом и взял оттуда несколько бумажек. Это были деньги. Оля знала: отцу всегда нужны были эти бумажки, и он очень дорожил ими. Но чаще всего у него их не было. Раньше их давали ему за то, что он пел под гитару. Но теперь гитары не было, и пел папа редко-редко, один, и никто ему не мог дать за это такие бумажки. Откуда же эти? Наверное, их оставил здесь новый знакомый. Только бы папа не поменял эти бумажки на бутылки, как он часто делал последнее время в Харбине.

— Владыка Иоанн, помоги нам, — прошептала Оля несколько раз, засыпая. И все видела перед собой ласковую улыбку, которая спряталась в неприбранной бороде, и родные глаза, глядевшие из-под очков, и босые ступни в черных складках длинного одеяния.

А еще все слышался ей тот плач, плач взрослого ребенка, плач не о своей боли и обиде — о чужом несчастье и горе.

ЯБЛОКО

В саду было красно от яблок. Они сияли в лучах солнца, и было так весело смотреть, как старик Богдан снимает большие, круглые налитые яблоки особой палкой с полукруглым гнездышком наверху. Яблоко ложилось в это гнездышко и тихонько опускалось вместе с палкой. А потом оказывалось на большой, почерневшей от земли мозолистой ладони Богдана. Самые крупные

и красивые яблоки старик передавал Мише. Миша брал с замиранием сердца этот дар, и ему казалось, что он держит в руках солнце. Вон то большое круглое солнце, что склоняется уже к закату там, за садом, за бесконечной малороссской степью, за далекими холмами на западе, оно теперь у него в руках. Ему не хотелось есть это чудо, он уже и так набил себе оскомину. Он отходил в сторону и смотрел.

И вдруг яблоко превращалось из солнца в землю. Да — это круглая маленькая земля. Вот континенты, вот моря, океаны. Вот тоненькие полосочки рек, вот — точки городов. Он видит огромную Россию. Сердце бьется. Она так велика, и не просто велика. Отец не раз говорил Мише:

— Не в размере дело, а в той силе, упорстве, мужестве, которые проявил наш народ, осваивая, отвоевывая эти необозримые пространства. И всюду, где появлялся русский человек, он нес православную веру. Он строил церкви, он проповедовал Христа Воскресшего. И шаманская Сибирь становилась христианской, и даже на далекой Аляске алеуты молились кроткому Иисусу...

Миша глядел на яблоко, он видел землю, он думал о том, как радостно верить во Христа. Он недавно исповедовался в первый раз. Этим летом ему исполнилось семь лет. Он сам очень хотел причаститься на Петровках. Они поехали в Святогорский монастырь. На будничной вечерней службе было всего трое монахов. Христос ласково смотрел с иконы у Царских Врат, будто подбадривая Мишу. И он шагнул к аналою. Когда тихие пальцы священника крестом скользнули по епитрахили, Миша почувствовал небывалую легкость. Он поднял голову, взял благословение у батюшки и застыл. С иконы глядел на него живой Христос. Воскресший Спаситель глядел на него молча. Но Он был здесь, рядом, на самом деле. Радость охватила все его существо. Было лето, но хотелось петь: «Христос Воскресе!»

— Я хочу одного — быть рядом с Тобой всегда, — прошептал Миша. — И чтоб другие тоже были с Тобой. Слышишь, слышишь?

И теперь Миша держал яблоко. Папа недавно рассказывал про разные страны. Есть, оказывается, народы, которые не знают Христа. Вот Китай, например. И Миша поглядел на яблоко и в его красном бочке увидел очертания Китая. Вот тоненькие ниточки

рек, вот точки городов: Пекин, Харбин, Шанхай... А вон Америка — перевернул Миша яблоко. Здесь была зеленая сторона. С одной стороны — Нью-Йорк, с другой — Сан-Франциско. Говорят, там многие верят во Христа, но не знают Церкви, не причащаются Святых Христовых Таин.

Миша много болел. И когда ему приходилось лежать в кровати, кутать горло, кашлять, он больше всего жалел не о том, что не может купаться или ездить в гости, но о том, что он не может подойти к золотой Чаше и услышать:

«Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго».

«Сын Бога живаго», — повторяло сердце. Он подходил к Чаше, он видел себя не здесь, не в монастыре, не в России даже, а там, на пыльных дорогах Палестины, где посреди бородатых учеников шел Учитель, и так хорошо оказаться рядом с Ним, так горит сердце, когда слышишь Его слова...

— Я здесь, Господи, — шептал Миша, а потом долго молчал после причастия. Он любил последние молитвы. Другие дети скучали, стремились выбежать из храма, погонять голубей. Он становился тих и серьезен. На лице играла какая-то тайная мысль, щеки слегка розовели. Как бочок яблока, тот, который он все еще рассматривает.

А это Европа. Вот — Франция, Париж, Лион. Его гувернантка-француженка рассказывала ему про Францию, про собор Парижской Богоматери, про большую реку Сену и прекрасный океанский берег в Бретани. Она любила Христа, она часто шептала ему по-французски о том, как все мы живы в сердце Иисуса. Он всех нас вместил, Он всех нас принял. Но она почему-то не ходила в церковь. Только иногда ее отпускали куда-то далеко, где был ее храм. Она была католичкой, по словам отца.

— Католичка, — удивлялся Миша. И ему делалось отчего-то неловко и не хотелось, чтоб это слово снова и снова возникало при разговорах о мадемуазель Катрин, которая была нежная и тихая. И молилась подолгу перед крошечной статуей Пречистой Девы.

Потом они много говорили. Уже подростком, тихим, скромным, он не раз читал вместе с ней книги, убеждал ее, переводил

православные молитвы. И однажды — это был праздник для него, в Святогорском монастыре за будничной Литургией мадемуазель Катрин была миропомазана и впервые причастилась в православной церкви. Пожилая гувернантка опиралась на тонкий зонтик и сухо покашливала. Пятнадцатилетний Миша гулял с ней возле монастыря и думал о ее далекой родине, которая не знает Православия.

И разве мог он представить гараж на одной из французских улиц, где будет устроена церковь, и в Алтаре этого нищего храма перед святым Престолом будет стоять он, Миша, только не Миша уже, а владыка Иоанн. А потом пойдет по улицам этого необъятного города, в залатанной черной рясе, с всклокоченной бородой, маленький и немного, кажется, прихрамывающий. Пойдет и станет кропить этот древний город святой водой. Потому что Господь любит Париж, и когда-то святая Женевьева озарила его своей подвижнической молитвой, и православная вера сияла в Древней Галлии почти тысячу лет. Он будет идти, а из домов то и дело станут выходить французы, подходить под благословение, кланяться и принимать святую воду. А владыка будет улыбаться, лучистые глаза его засияют из-под стекол очков, которые будут мокры то ли от брызг святой воды, то ли от слез...

Мадемуазель Катрин уже звала Мишу спать. Но уходить не хотелось. Яблоко еще лежало на детских ладошках. И это было не яблоко, а вся земля. Всю землю держал мальчик на своих слабых руках. Старик Богдан приставил шест к старой развесистой яблоне, взвалил на спину большую корзину.

— Пора, касатик, пора, слышь, мамзель-то кличет...

Августовское солнце уже было совсем низко, там, за садом, за бесконечной степью, оно уходило освещать чужие земли, чужие города: Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско... А в России скоро станет темно. Хорошо в России. Как она огромна и могуча! Ее держит в своей руке добрый государь. Его любит Бог и помогает государю.

Портреты государя и его семьи любил рассматривать Миша в журналах отца. Самый большой портрет он видел в Полтаве, когда они ездили навещать отцовского брата дядю Алексея.

В кабинете дяди висел огромный портрет над самым столом. Миша вошел в кабинет и замер. Государь был одет в красивый парадный мундир, но глаза его глядели с затаенной грустью. Ему тяжело править большой Россией, он боится за нее. Он держит в своем сердце свою страну. Но Миша знал, что Россия сильная и добрая. Никто не одолеет ее. Бог даст ей многие годы счастья. Но почему государь смотрел с портрета так грустно? Или Мише это показалось?

Пройдет много лет, и владыка Иоанн будет молиться в Брюсселе в храме-памятнике об упокоении убиенного царя Николая. И вспомнится владыке тот день, когда семилетний мальчик Миша стоял один на один с портретом государя, обычным парадным портретом, но с такой странной таинственной грустью в глазах. И станет понятно, откуда была эта грусть...

«Государь Николай Александрович скончался как мученик, с непоколебимой верой и терпением, выпив чашу страданий до дна», — скажет владыка...

И поруганная, разорванная, окровавленная Россия, Россия, потерявшая царя и даже свое имя, будет стонать в его сердце. Он упадет на колени. Худое, изможденное постом тело будет снова и снова склоняться в поклонах и вымаливать для России прощение, помощь, свет... Он никогда не будет ложиться спать с тех пор, как в тихом сербском монастыре примет монашество. Только урывками, в кресле, за столом во время обеда, даже беседуя по телефону. Потому что как тут спать? Когда до сих пор еще не отшумело эхо страшных выстрелов в екатеринбургском подвале, и все еще видится царь, упавший на каменный пол, как он сжимает своего единственного, смертельно раненного сына, и чистые голубицы-царевны все в крови, и царица закрыла ладонями лицо и шепчет только: «Господи...»

Как тут спать, когда миллионы голосов стонут на этой земле. Когда Россия поругана, распята, обезглавлена, и тянутся на восток товарные поезда, но в их вагонах не товары, а люди, прижатые один к другому, измученные, голодные, осужденные на каторжный труд за одну только верность, верность совести и Богу. Нет, он не сможет лежать в кровати, мирно предаваясь сонным

видениям, пока в России не останавливается страшный конвейер. Один за другим сменяют друг друга следователи и продолжают жестокий допрос, не давая заснуть своим жертвам.

Нет, он не сможет спать. Он будет идти на рассвете по улицам огромного Шанхая, где нет еще ни одного рикши, и только какая-то облезлая кошка выскочит из-под помойного ящика, он поднимется по ступеням в церковь, войдет в Алтарь и упадет перед Престолом, и слезы зальют стекла очков, и босые ступни будут прятаться в потертых складках подрясника...

А еще дядя Алексей, тот самый, у которого в кабинете висел портрет царя, подарил Мише на семилетие прекрасных солдатиков. Этот набор был выписан из Петербурга. В нем были русские солдаты времен Полтавской битвы и шведы в синих мундирах. Была даже могучая фигура Петра I и поменьше – Карла XII.

Поначалу Миша очень обрадовался. Они были такие красивые, бравые, яркие. Но потом, когда он расставил их ровные ряды друг против друга, нацелил аккуратные оловянные пушечки и стал смотреть на поле боя, ему вдруг стало тяжело на сердце. Он вспомнил, как отец читал ему Пушкина, поэму «Полтава», там очень красочно описывалось, как рубили друг друга люди, как лилась кровь, как падали мертвые, а Петр I любовался этой картиной, и сам Пушкин, казалось, любовался, но Миша вдруг залился слезами. Потому что он представил старика Богдана с большим шрамом через правую щеку. Он ведь был настоящим казаком. Миша увидел, как Богдан мчится на коне, как сабля врага задевает его лицо, хлещет кровь, конь несет его, и он падает куда-то в кусты без сил, в крови, стонет, теряет сознание.

Нет, нет, Миша не хотел этого. Тут нечем любоваться. И как остановить это зло? Что делать, ведь нужно было защитить Россию от наглого Карла. Как утолить боль раненых и вытереть слезы тех матерей и жен, которые не дождались своих Петров и Богданов и, молясь за панихидами, заливались слезами?

— Няня, няня, — бежал вдруг Миша к старушке Игнатьевне, — можешь сшить мне двадцать черных одежд, маленьких, для солдатиков?

— Чегой-то я не разумею, сынко, — отзывалась няня.

— Да вот, няня, для этих солдатиков, ну как в монастыре, знаешь, монахи ходят, одежду такую.

— Да зачем тебе, сынко, играй, как все хлопцы, сдались тебе монахи. Голодом тебя заморят.

— Ну, няня, сшей, я за тебя буду в два раза больше молиться. Вот сегодня вечером за тебя Богородицу прочитаю и еще молитву о здравии, чтоб у тебя спина не болела...

— Ну ладно, ладно, сынко, давай своих солдатиков, что могу — сделаю...

А вечером Миша уже расставлял одетых в черные подрясники воинов в церкви. Церковь он соорудил из кубиков, даже престол в алтаре поставил. Он долго не мог решить, можно ли рисовать маленькие иконки для церкви. И все же решил нарисовать. Получилось не так чтоб очень хорошо. Но все-таки. Потом он спрятал эти иконки в Молитвослов. Эту книжицу взяли с собой отец с матерью, когда уходили из родных краев вслед за Добровольческой армией. Книжка была с ними и в голодном Крыму, и на переполненном пароходе в Константинополь, и в радушной Сербии. А потом потерялась. И только уже в пятидесятые годы в Венесуэле, когда Гликерия Максимович хотела выбросить старый порвавшийся пиджак своего мужа, во внутреннем кармане она нащупала вдруг этот Молитвослов. Она раскрыла его, и несколько бумажек спорхнули на пол, несколько бумажек, где детской рукой нацарапаны были лики Спасителя и Его Пречистой Матери.

— Боря, Боря, — позвала Гликерия своего мужа. Он с трудом поднялся с кресла. Морщинистая, слабая рука сжимала трость. Жена положила ему на ладонь бумажки. Он глядел на них, ладонь дрожала...

— А я ведь знаю, откуда они. Помнишь, Алеша подарил нашему Мишуне солдатиков, а он переодел их в монахов и играл в монастырь. Помнишь, Лика, помнишь, а теперь ведь вот — архиерей...

И он понес эти бумажки, осторожно ступая и опираясь на трость, к красному углу. Там он подсунул их под стекло небольшой Казанской иконы. Пречистая Дева глядела с иконы ласково и тихо. Ее большие глаза, казалось, были полны слез. Она жалела

стариков, которые обречены были на долгое и трудное странствие, на потерю дома и Родины, друзей и родных. Обречены были на горький хлеб изгнания. Они стояли рядом, Борис и Гликерия, и отвечали благодарными вздохами по-матерински нежному взгляду Пречистой Девы. Они были благодарны. Старые-престарые русские люди перед Казанской иконой на забытой улочке города Каракаса. Знал ли кто из них там, среди садов и хуторов Малороссии, что есть такой город на свете, что есть такая страна — Венесуэла?

Солдатики Миши молились теперь в черных подрясниках и были уже воины Царя Небесного, и шведы, и русские. Петр был за игумена и священника, Карл — за дьякона. Им няня сшила особые ризы. И все они молились о мире всего мира, о соединении всех, но молитвы Мишиных монахов не были услышаны. Отчего?

Чаша долготерпения Божия оказалась переполнена, наступал страшный двадцатый век. Век революций, войн и жестоких диктаторов.

Из глины Миша сделал маленькие подсвечники, набрал свечных огарков, зажег их от лампады и расставил в церкви. Уже вечерело. В комнате был полумрак. Свечки по-настоящему светили, озаряя темные фигуры крошечных монахов. Миша затянул что-то церковное и долго не мог оторвать взгляда от этих огоньков, от этой церкви...

А няня замерла на пороге, когда пришла укладывать Мишу спать. Она видела, как мальчик глядел на свой монастырь, глаза его светились и смотрели куда-то далеко-далеко. Маленькие монахи показались старой Игнатьевне живыми. Она не могла позвать Мишу, ей было страшно нарушить молитвенный покой детской комнаты... И только когда одна свечка упала возле бумажной иконы и та вспыхнула, оба опомнились. Миша схватил бумажку и потушил огонь, а няня почему-то схватила Мишу, словно собираясь куда-то бежать с ним.

А ведь и вправду: одна из тех иконок, что выпали из Молитвослова в дешевой меблированной комнатке дома на одной из окраинных улиц Каракаса, была слегка обгоревшей.

Борис и Гликерия стояли перед Казанской иконой. Потом долго сидели в креслах возле круглого столика, пили южноамериканский кофе. Хороший кофе, а все же чужой. Вспоминали и роняли слезы в кофейные чашечки. Чуть подсоленный кофе становился еще вкусней, но старики забыли про чашки и долго еще не спали в ту ночь.

Не спал в ту ночь и владыка Иоанн. В Париже, в крошечной келье, он поминал своих родителей, их многострадальную эмигрантскую долю. Вспоминал он и свое детство, и Полтаву, и солнце, и большое красное яблоко в своей руке. Вот они — очертания континентов, и ниточки рек, и точки городов. А вот и Париж, на самом розовом бочке, где небольшая червоточинка. Конечно, это Париж. Там светится едва заметно окошко его кельи, одно-единственное освещенное окно на целый квартал. Потому что он не спит и не будет спать. На стене множество ячеек, там разложены письма. Каждый день их приходят десятки, а то и больше.

Нужно прочитать, ответить, отозваться сердечной молитвой. Почти в каждом письме боль. Человеческая боль, а эту боль он принял на себя вместе с монашеской мантией, вместе с епископским омофором. Ведь быть монахом — значит плакать обо всем мире, быть епископом — значит болеть за всех.

На башне пробило три часа ночи. Он выходит из кельи, босые ноги неслышно ступают по холодным ступеням. Он идет по ночной улице, потому что кто-то плачет и ждет. Потому что сейчас он кому-то нужен. И нет времени спать.

ВЛАДЫКА, ПРИДИ

Летом в Шанхае жарко, даже там, в далеком детстве, под горячим июльским солнцем украинской степи не бывало так жарко. Тогда, конечно, приходилось просто бежать за сестрой в тщетной надежде отобрать у нее крохотную ящерицу, которую та сжимала в своих ладонях, то и дело поглядывала в щелку между пальцами, смеялась и бежала еще быстрее. А теперь приходится таскать эти тяжелые ящики, а зной гораздо сильнее. Тем более что раньше умел только перебирать струны и петь. Надрывным голосом петь об общей эмигрантской судьбе, внимать аплодисментам и всматриваться в затуманенные слезой глаза слушателей там, за столиками ресторанчика. Проняло, а?

Но с тех пор как не стало его тонкой и хрупкой Чунь Ли, он не мог петь. Да и как тут петь, когда от первых же переборов гитары душу пронзала такая боль, что хотелось бросить все и бежать, залить боль эту холодной рисовой водкой. Однажды он пробовал играть дома ту самую песню, которую так любила его маленькая желтолицая Чунь Ли (она вряд ли понимала слова, русский она знала плоховато), но что-то трогало ее в этой песне до слез, а песня-то наша, русская, про ямщика, что замерзал в степи. Да, она плакала, маленькая Чунь Ли, плакала над этим русским ямщиком, который замерзал среди далекой русской степи, где когда-то в небольшом поместье со старым садом родился ее муж, Павел Сергеевич Амосов... Так вот, он пробовал однажды играть